

М И И Х А

И Л С В

И Щ Е В

В михаил свищёв михаил свищёв михаил свищёв михаил свищёв М

последний экземпляр • последний экземпляр

Воймега



михаил свищёв

последний экземпляр

Москва
«Воймега»
2009

УДК 821.161.1-1 Свищёв
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
С24

М. Свищёв

С24 Последний экземпляр. — М.: Воймега, 2009. — 72 с.
(серия «приближение»)

ISBN 5-7640-0094-7

© М. Свищёв, текст, 2009.
© С. Труханов, оформление, 2009.
© А. Александров, название книги.
© «Воймега», 2009.

МОНГОЛЬСКОЕ
ТАНГО

МОНГОЛЬСКОЕ ТАНГО

То ли моют полы, то ли пахнет полынь,
то ли входит, садится, сдвигает столы
эскадрон, не дошедший до Ганга.
Зябко скрипнет костыль, тихо всхлипнет медаль,
и тапёр отпирает трофейный рояль,
и несётся «Монгольское танго»...

То ли хочется спеть, то ли чудится степь,
то ли время запуталось в конском хвосте,
словно цепкий июльский репейник.
И, припомнив мотив, они курят всю ночь,
и глядят, и молчат, и хозяйская дочь
подаёт им четвёртый кофейник.

И не весел никто, и никто не сердит,
где кончается спирт, начинается флирт —
приглашают хозяйку на танец.
Но за шторой давно рассвело, и уже
время прятать обратно свой маршалский жезл
в комиссарский застиранный ранец.

То ли моют полы, то ли пахнет полынь,
то ли просто укол патефонной иглы,
то ли дождь, то ли снег, то ли ангел,
теребя облака перебитым крылом,
входит в серое небо под острым углом
с первым тактом «Монгольского танго».

ленинградское лето

Ты носила юбки прямого кроя,
и часы, как ноги, казались длинными.
Мы искали места для нашей Трои,
но всё было занято чужими руинами.

То, что было сверху, считалось небом.
Всё, что было ниже, звалось по-разному —
женщины стояли в очереди за хлебом,
мужчины пользовались общественным транспортом.

Паузы заполнял разноцветный воздух,
облака меняли своё течение...
Кое-где порой проступали гвозди,
но мы не придавали им большого значения.

Раз в неделю случались ночные смены.
Ровно в семь звенели ключи от бойлерной,
и тогда у нас появлялись стены
соседкиной комнаты с сырыми обоями,

где шуршал сквозняк в пожелтевшей вате
и комод гордился забытой варежкой.
...У неё были целые две кровати:
на одной умерла мама,
на другой — бабушка.

прогулка

Дождям не вернуться, траве не остыть.
В берёзовой роще за N-ской деревней
черёмуха прячет сухие листья
под братскую сень безымянных деревьев.

Теперь никогда не узнаешь, по ком
торопится колокол, медлит кукушка.
Крапива штурмует щербатый окоп
в густой тишине на далёкой опушке,

где дышат смолою горячие пни,
а воздух пропитан черникой и болью
сапёра, отдавшего обе ступни
за наши прогулки по минному полю.

СВЕТОМУЗЫКА

Ты играй-ворожи — вальс-бостон,
«Сказки Венского леса» ли,
довоенная жизнь,
словно старенький снимок рентгеновский,
попадёт под иглу
патефона, что ласковой сволочью,
как ногтём по стеклу,
заскребёт по слепым да осколочным.

Там на майский парад
выстилая балконы перинами,
заведут аппарат,
что из Праги везли, из Берлина ли,
и за тысячу вёрст
в дерматиновой пасти раззявленной
нарисованный пёс
обернётся на «Голос хозяина».

Там дистрофик-весна
отражается в сереньких лужицах,
и иголка-блесна
засверкает, залает, закружится
по провалам глазниц,
в медсанбате руками заляпанным,
и по тем, что срослись,
и по тем, что под корень оттяпаны.

Там плывут по ручьям
треугольники в школьную клеточку, —

там медали бренчат
и топорщатся жёлтые ленточки
на пустых рукавах,
словно бирки без имени-отчества.
Там в пластинке слова —
потому что по кругу — не кончатся.

И взорвётся мотив,
дребезжа запотевшими кружками,
там мальчишка, забыв
про отцовский ТТ под подушкой,
от обновки слепой,
примеряет сандалики узкие.
Там вчерашняя боль
превращается в лёгкую музыку.

Там идут на убой,
не меняя рубаху нательную,
чтоб вернуться домой —
патефонной трубой, светотенью ли, —
чтоб нашарить ключи
там, где спрятал... А значит, и к лучшему,
что нельзя залечить.
Можно только по новой прослушивать.

ком. № 312

Ни в рулетку, ни в «двадцать одно» —
только в «верю не верю»
в кабинете с надёжным окном
и приветливой дверью,
за которой приметы не впрок,
уступая предметам:
стол и стул. И лепной потолок,
отражённый паркетом.
...А на полках — Артёмов, Плохих,
Воскобойников, Зальцман
теребят пожелтевший архив
отпечатками пальцев.

спички, хлеб
и керосин

• • •

Здесь ищут истину и прячут
столовый нож за сапогом
и в праздник белую горячку
мешают в жёлтый самогон, —

пьют чай из треснувшего блюдца,
ругают жён и давят блох.
И если всё же подерутся,
предметом спора будет Бог.

Для всех далёкий и зловещий
и ставший только на Руси
такой же очевидной вещью,
как спички, хлеб и керосин.

• • •

Они ушли ещё до января,
как водится — правдивы и гонимы,
и вьюга помогала фонарям
раскачивать покинутые нимбы.

Наутро их остывшее стекло
ещё хранило очертанье света,
и выпадал то решкой, то орлом
сто первый снег, случайный, как монета.

Скульптуры были мрачны и немы,
не таяли снежинки в львиных пастях,
и у реки сходились на запястьях
холодные наручники зимы.

Темнело рано. В комнате вождя
оконных рам не согревали ставни.
Пять куполов с озябшими крестами,
где не найдёшь ни Бога, ни гвоздя,

фасад больницы, крыша кабака,
сухая зелень бронзовых рептилий...
Они ушли. Привычна и легка
поклажа, состоящая из крыльев,

спин, пустоты, молчанья и шагов,
всё более тревожных и далёких,
ведущих вспять, за тысячу снегов,
о коих мысль — как воспаленье лёгких

крупозное. К тому ж теперь зима,
и речь — уже не речь, но междуречье.
Январь дрова подкидывает в печку,
январский холод полнит закрома.

...И носом кровь, и решетом вода —
забавные народные приметы.
Пять месяцев до будущего лета
и два часа до Страшного суда.

• • •

Мы жуём и худеем
и не ладим с властями,
мы слегка иудеи
и слегка египтяне.

Мы повально скучаем,
старики и младенцы,
мы едва отличаем
еврея от немца,

но от старой коровы
и до божьей коровки
мы блюстители крови,
как все полукровки.

Наши дети желанны,
а любовницы юны,
прокуроры гуманны,
палачи остроумны,

наши комнаты смежны.
Нам пора на работу.
В понедельник мы те же,
кем были в субботу.

Нам осталось заботы
только слушать куранты.
Иногда патриоты,
но всегда эмигранты,

мы несём свои судьбы
на манер коромысла...
Мы и воры и судьи,
мы и ныне и присно.

день поминовения

Проснись. Прими холодный душ.
Прочти отсюда и досюда
второй псалом («Бысть некий муж...»),
свари яйцо, помой посуду.

Накинь коричневый пиджак,
поправь на шее тёмный галстук —
в полях за городом лежат
холмы, погосты — государства,

чьи граждане устали жить,
предпочитая повсеместно
единству тела и души
единство времени и места.

бессмысленный
запах листвы

ЭЛЕГИЯ

В стеклянной шкатулке найди подходящий лоскут,
зажмурь левый глаз и взгляни, словно новый Кутузов,
как русская осень привычно сжигает Москву
и путает карты последним, случайным французам.

Задумчивый дворник разводит сырые костры.
В конце октября на окраине третьего Рима
вдыхай этот запах, бессмысленный запах листвы,
гляди, как отечество сладким становится дымом.

Чадят незабудки, пылает сухой остролист,
что город, что сердце — чем чище, тем, значит, бездомней.
И службы спасенья никем не спасённых столиц
пушистой золой раздают их по детским ладоням.

На прежних погостах желтеют пустые холмы,
и мёртвые тени привычно выходят на сцену.
И тени живых подпирают кирпичные стены
в конце октября, на подмостках грядущей зимы.

• • •

Нам не хватит бензина на горний полёт
и речного песка на стеклянные замки.
Осторожное сердце едва узнаёт
свой осиновый колышек в общей вязанке.

...И душа человека, душа вообще,
у Хароновой речки сливаясь с природой,
демонстрирует свойства абстрактных вещей —
государства? религии? времени года?

коллекционерам

Отыскать своё место, отечество, щель,
куда можно забиться. Забыться, раздеться,
охраняя себя от людей и вещей,
всё раздав. Или сделав предметом коллекций.
Стать хранителем старых медалей и брюк,
портсигаров. И плакать по-детски и страшно,
свой любимый подсвечник спасая от рук
расторопных друзей и голодных домашних...
Сторожить, не смыкая стареющих век,
чтоб потом, становясь всё смешней и капризней,
коротать в нищете неудавшийся век,
собирая пожитки для следующей жизни.

• • •

Она всегда была такой внимательной,
слегка уступчивой, но осторожной,
играла с девочками в дочки-матери,
играла с мальчиком в колечки-ножики.

Бульваром, парком ли, подъездом сумрачным,
пиная туфелькой ступеньки грязные,
она качала своё сердце в сумочке,
как будто маленький баллончик газовый.

Она домой брела глухую полночью,
на кухне капала вода из краника,
и коммунальные соседки-сволочи
под звон ключей её впадали в панику.

Слегка нетрезвая, всегда опальная,
с гостями в комнату кралась по стеночке...
И над разобранной её двуспальной
ржавели ходики с одной стрелочкой.

тезаурус

ПАМЯТЬ

На вечерней побудке
она навещает твой город,
семена по асфальту,
скользя по песку и траве,
с голубой незабудкой,
шуршащей у самого горла,
с безопасною бритвой
в широком льняном рукаве.

Потайными ключами
тревожа квартиры знакомых,
словно гипсовый ангел,
желтея осколком крыла,
с чашкой крепкого чая
садится на твой подоконник
и потёртым брильянтом
терзает визитку стекла.

Равнодушной, чем кремьень,
проворней, чем мартовский голубь,
её тонкие пальцы
всегда безупречно чисты.
И прошедшее время
течёт сквозь суглинок глаголов,
и прилежное сердце
наводит кривые мосты.

любовь

*l'amour fait beaucoup
mais l'argent fait tout*

Она придёт, закинет голову —
отомщена, но не развенчана,
холодная, как слиток олова
в гортани фальшивомонетчика.

Немногословная, негордая,
в простого цвета скоромном платье,
в котором смотрится так дорого,
что и под старость не расплатишься —

со всеми соплями подлунными,
со всем несбывшимся-удавшимся,
со всеми недопоцелуями,
которыми теперь подавишься.

Теперь смешно искать ей тапочки
и щеголять вставною челюстью —
ей восхитительно до лампочки
твои таланты или прелести.

Она поймёт лишь дрожь попутную,
ладонью, бровью ли, глазами ли,
со вздохом выдох перепутает
и приговор — с безнаказанием.

НОСТАЛЬГИЯ

Всё познаёшь в сравнении,
скользким путём привычки.
(Это простое мнение.)
Ночь зажигает спички
и ледяными грелками
лечит больной рассудок...
Так разбивают зеркало,
так — дорожат посудой.
Так посыпают лестницы
хлоркой в чумном бараке,
так умирают сверстницы
с мыслью о новом браке.
И оживают ходики,
вздрагнув под весом гири.
Так, продавая родину,
чувствуешь ностальгию.

звезда

В январском снегу утонул подоконник.
Большие зрачки её были спокойны,
и только в глубоких точёных глазницах
дрожали две тени, как тушь на ресницах.

Дремали предметы, жильцы и растенья.
Она проходила сквозь двери и стены
со звуком, как будто бы рвали бумагу,
не бросив ни слова, не сделав и шага.

Она миновала ступени, перила,
светя всё тревожней, всё ближе. И было
в её осторожном задумчивом свете
немного от жизни, немного от смерти.

...По мягким коврам, поседевшим от пыли,
она проходила вслепую, навывлет,
сквозь хлопок и шёлк, сквозь суставы и кости,
легко, как хозяйка, и тихо, как гостья.

город

Между переулками чьих-то отчеств
промелькнёт усталое чьё-то платье.
Если здесь и любитя — то на ощупь,
если здесь и пишется — то в кровати.

И почти не спишь, а особо ночью,
глядя, как часы отмеряют сутки.
Если что и хочется — то не очень,
улицы бесполы, как проститутки.

Что ни особняк — то предмет искусства,
что ни мостовая — пример гражданства.
Под фонарным нимбом светло и пусто,
будто кто ушёл, не сумев дождаться.

Да и сам не ждёшь ни суда, ни зверя,
и не то что лень, просто нет причины.
И уже с трудом напрягаешь зренье,
отличая женщину от мужчины.

декабрь

Кровь горожан по-зимнему бела,
прохладны их подруги и постели.
На целом свете только и тепла,
что за окном соседнего отеля,

в котором ни скандалов, ни чудес,
и мирные скупые иностранцы
бредут сквозь строй вечерних стюардесс,
торгующих телами и пространством.

НОЧЬ

Ночь точно символ веры.
Ночью все кошки серы.
Что ни окно — больница,
каждая дрянь — девица,
каждый мужчина — первый.

Пахнет углём и мелом.
Пары лежат на белом
в белом фонарном свете,
сердцем сажая ветер
и пожиная телом.

Заняты те и эти,
спят только псы и дети.
Их разбудить не может
танец рояльных ножек
на голубом паркете...

Остренький месяц светит,
как перочинный ножик.

пули

В тесной обойме,
в уютном патроне,
в детстве
думалось — будет светло
и немного страшно.
Их волновала
слепая доступность сердца,
раздражали второстепенные вещи —
пальто, рубашка.
...И напоследок они улыбались в дуле:
быть человеком долго —
быстрее быть пулей!

в альбом,
которого не было



Т. К.

Когда наконец мы получим покой,
я стану бревном, а ты станешь рекой
и сможешь, едва прикасаясь устами,
делить моё тело на щепки и дрожь.
Но ты никогда никуда не впадёшь,
и я никогда ни к чему не пристану.

Нас как-то окрестят — тебе всё равно,
ты будешь Рекою Несущей Бревно.
Обещанный сразу пяти океанам,
я стану знаменьем для здешних племён.
Но если тебе вдруг не хватит имён,
то, может быть, я назову тебя Анной.

И прошлые годы, как будто взаймы,
солятся в судьбу от зимы до зимы.
Совместный наш путь будет лёгким и длинным,
как всякое средство, забывшее цель,
и нам померещится в самом конце,
что мы не прошли ещё и половины.

И я буду гол, а ты будешь нага,
и оба, меняя поля на луга
согласно течению, покинем без грусти
ту местность, где мы не имели врагов.
И крепкие руки иных берегов
однажды сойдутся на высохшем русле.

• • •

После вас, словно после большой войны, —
время делится только на «до» и «после».
Официальные сводки потерь скромны,
но ближайшую церковь занял госпиталь

год назад. И похоже, что навсегда.
Я грущу за молитвой и за обедом,
утешаясь лишь тем, что моя беда
не нова, как изнанка любой победы.

Прошлогодней — тем более. Глупый век.
Чёрный рынок зимы, где дороже хлеба —
фотокарточки, письма, вчерашний снег
и забытый на полке кусочек неба.

Второпях вы оставили синий шарф
в опустевшей прихожей у самой двери.
Ах, в любви не торопится лишь душа,
наши души древнее, чем сто империй

вместе взятых. Но могут однажды пасть
и, во всём потакая слепому стаду,
любоваться на то, как чужая страсть
разбивает акрополь кусками статуй.

Уцелевшие счастливы и равны —
все давно потеряли кто дом, кто ногу...
После вас, словно после большой войны.
Мы сумели вернуться. И слава Богу.

• • •

Мы пройдемся через ночь, как сквозь строй.
Ты не будешь ни женой, ни сестрой,
а я буду на лицо сероват —
не царевич и не волк. И не брат.

А за нами — шомпола-фонари,
а за нами со среды до зари
всюду стрелочки-мосты сведены,
а за нами — ни вины, ни спины.

Папироска на губах загорчит —
остановишься, вздохнёшь, промолчишь,
в пол-улыбки подмигнёшь, в полбеде,
и не станет ни вина, ни воды.

И не хватит ни хлебов, ни ножей,
не воскреснешь — ни потом, ни уже,
потому что и душа, — посмотреть, —
не похожа ни на жизнь, ни на смерть.

Ей другие берега далеки,
потому что ни весла, ни руки,
потому что по Москве чёрный газ
проплывает сквозь дома мимо нас.

А за нами — всё овраги-сады,
и не гаснет с четверга до среды
чьё-то узкое окно, словно дверь
в послезавтра, во вчера да в теперь...

• • •

М. Р.

Ты уедешь в деревню — тайком, надолго,
на санях, на попутке, на сером волке,
налегке загостишься в одной из вотчин,
отдохнув от фамилий, устав от отчеств.

Обживёшься, привыкнешь читать молитву,
навещая колодец, чиня калитку,
и гадать на побелке печною сажей...
Две зимы проскучаешь и выйдешь замуж.

Вы засеете грядки травой и луком.
Но, припомнив твой адрес, как Ванька Жуков,
мне едва ли случится прислать депешу
по невнятной причине — запью? повешусь?

За отсутствием факта представим чудо —
докурюсь до инфаркта? Женюсь? Забуду?
Из пяти этих слухов по крайней мере
хоть один вероятен, а значит — верен.

Ты уедешь в деревню, найдёшь дорогу,
ибо что ни верста там, то ближе к Богу,
раздающему ливни, снега, порошу...
Я верну тебе имя, когда вернёшься.

• • •

Наступает среда.
На разлуку по-прежнему стойки,
мы уже никогда
не разделим ни хлеба, ни койки.

Мы не сходим с ума,
мы давно порешили, условясь,
сделать тайный роман
достоянием народных пословиц,

между Чистых прудов
и заплёванных чьих-то колодцев
мы — последний улов,
и за гробом, как видно, придётся

из-за пары грошей,
сбережённых тебе на монисто,
православной душе
разминуться с душой атеиста.

развивая Вийона

Есть только стены и постели,
Расчёска, душ и туалет,
Есть вечный зуд в уставшем теле —
Любовь моя, любви нет!

Но есть ритмичные движенья,
Хороший тон, плохой сонет
И на глоток воображенья —
Любовь моя, любви нет!

Наложница, кухарка, прачка, —
Ведь юношам преклонных лет
Так утомительна горячка, —
Любовь моя, любви нет!

Уста правдивее, чем речи:
Кто различает тень и свет,
Тот знает вкус противоречий —
Любовь моя, любви нет!

Слова дешевле, чем касанья,
Душа — забавный инструмент
Признанья через отрицанье —
Любовь моя, любви нет!

• • •

...И, ничтоже сумняшись,
как под скальпель хирургам,
мы ложимся, обнявшись,
что Москва с Петербургом, —

две войны, две больницы,
два посмертных лекарства,
две роскошных столицы
забубённого царства.

Не спеши, не усердствуй —
где кровать как телега,
там от сердца до сердца
сотни вёрст без ночлега.

• • •

Полночь. Хозяин мебель пропил.
Сидели на полу, как турки.
Свеча роняла женский профиль
на обнажённую штукатурку.

И, вдохновенно запрокинут,
он на стене казался ближе
между бездарною картиной
и литографией Парижа.

И со свечой нас было трое
в той комнате чужой и узкой,
и жизнь была такой чудною,
и ночь была такой французской,

и в суевернейшем смятенье
уже мерещилось обоим,
что целовались наши тени
на потолке и на обоях,

и эту чувственность трагедьей
лишь можно было узаконить.
И тень застыла на паркете,
задев виском о подоконник.

Так мимолётно, так осенне,
так гильотинно и отвесно...
Я не заметил воскресенья
в тот миг, когда она воскресла.

И вновь мы с ней куда-то плыли
случайной комнатой ночью
и вновь одною тенью были,
рождённой плотью и свечою.

• • •

Живи стеклянным детским садиком,
где истина — в твоей вине,
беспечная хромая всадница,
влюблённая в чужих коней.

Полурёбенок, полуженщина,
чья ласка — с бритвою в руке,
ты знаешь вкус речного жемчуга,
не зная выхода к реке.

железнодорожное

железнодорожное

Ольге Козэль

Паровозный котёл
наполняется медленным паром,
и товарный состав
напрягает чугунные оси.
Из супружеских пар
всех прочнее колёсные пары,
потому что не лгут,
потому что не ждут и не просят.

Привокзальная площадь
качнётся печально и плавно,
и знакомый кондуктор
подавит тупую зевоту.
Ни одно колесо
не возьмётся прощать или плакать,
потому что колёса
всегда выполняют работу.

В синеве семафоров
и в синьке застиранных простынь
проступает рисунок —
последний, нательный, наскальный:
две казённых прямых
расстилают казённую плоскость,
но когда на них ляжешь,
то нет ничего вертикальней...

Мы не можем быть врозь.
И тем паче не можем быть вместе,

в суете эпилога
сбежав от посмертной опалы,
мы с тобой неразлучны,
как здешние шпалы и рельсы,
или больше того —
неразлучны, как рельсы и шпалы.

Я нашёл доказательство.
Мне оно кажется строгим,
словно медная кружка —
не может ни лопнуть, ни треснуть.
Напиши на бумаге:
«Пространство железной дороги»,
напиши и прочти.
Вот оно и получится: «Верность».

поезд

Ночь. Январь. Курьерский скорый. Ресторан.
Едут в отпуск два майора. Капитан
затонувшего в итоге корабля
уронил себе под ноги три рубля.

Их украдкой поднимают или нет,
и, навечно занимая туалет,
то ли Света, то ли Настя, вся ничья,
превратит свои запястья в два ручья.

Покосившийся шлагбаум. Протвино.
Едет в ссылку розенбаум, иванов,
едут отроки и сроки, их отцы,
сутенёры и пророки, близнецы,

мастера и маргариты... Льёт вода,
то фонарь сверкнёт на бритве, то звезда.
Запотевшее окошко. Тянет в сон.
Переедет чью-то кошку колесом.

Едет токарь, едет пахарь, декабрист,
проститутка, два монаха, атеист,
едет клоунская группа (в добрый час!),
едут в морг четыре трупа, два врача,

едут дети, ветераны, времена,
ордена и чемоданы. И она.
Нелюбима, неотпета, немила,
два браслета, две монеты, два крыла,

фиолетовое ушко и мантио...
А за ней, лицом в подушку, это кто?!
Эти руки, эти кудри, борода —
эмигрант из ниоткуда в никуда.

К ней вошёл почти насильно, с парой груш,
и печальный, и красивый, и не муж.
Подготовлен был на совесть их ночлег,
проплывал в снегу по пояс их ковчег,

мимо ехали вокзалы-города,
и мерещились то шпалы, то вода.

июльские свадьбы

июльские свадьбы

сердце
настежь захлопнутое
перед самым носом
стоптанные хрустальные туфельки
запертый замок без ключа —
личные драмы
не докучают проходим
только тогда
когда занавес надёжно задёрнут

подвенечные платья
спорят своей откровенностью
с улыбками невест
выигрывая с разгромным счётом —
счастье ещё не повод
прежде времени показывать зубы

слишком яркое солнце
стережёт непросохшие негативы
торопясь превратить их
в достояние семейных альбомов
в антиквариат
в содержимое мусорных баков

летний ветер
зовёт новобрачных
прогуляться по чугунным мостам
скованным из отслуживших своё
поясов верности

• • •

вспомнилось счастливое детство
когда мои пальцы ещё пролезали
в скользкие завитки
вентиля водопроводного крана
украденного в женском туалете
904-й средней школы

тогда это чудо сантехнической мысли
чья внешняя форма напоминала
цветок с пятью дырявыми лепестками
(привет фестивалю восемьдесят пятого года!)
обретало внутреннюю форму кастета
сжимая который в потной ладони
я думал
что мне уже больше никогда
не будет страшно

уголок Дурова

...далёко, на озере Чад...

на вкус мясо жирафа,
разбившего себе голову о решётку вольера
в приступе любовной горячки,
напоминало тебя.

разве нежность
не похожа на краткий инструктаж
по рукопашному бою?

это ново, когда знаешь —
пальцы той, с кем целуешься,
могут запросто свернуть тебе шею,

когда знаешь —
ей, наверное, уже доводилось
ласкать кого-то и так,

когда знаешь —
с тобой
она никогда
ничего такого не сделает.

если, конечно, не делать резких движений.
если не делать резких движений.
не делать резких движений...

• • •

быть похожим только на самого себя
как свежеотпечатанная сторублёвка

пройтись по рукам
отлежаться за подкладками кошельков
переламываться в поясе
вместе с тощими пачками единоверцев

ни на что не размениваясь
ни о ком не жалея
ни у кого
не прося сдачи

обветшать
девальвировать
сбросить пару-тройку нулей

уйти непобеждённым

двумя кубометрами глинозёма
надёжно защищённым от любых подделок

амнезия

сегодня утром проснулся и понял
что не могу вспомнить
ни одного собственного стихотворения —
ни одной вымученной рифмы
ни одной проходной строчки
ни одного перевернутого эпитафия

взял с полки книжку
издания тысяча девятьсот
литинститутского года
вчитывался
пропускал скучные места
отмечал удачные обороты
морщился на глагольных рифмах
следил за размером
плакал от любви

потом включил телевизор
и долго смотрел какую-то новую
новостную программу

мне не было никакого дела
до чужих рифм
до чужой любви
до чужих стихов
до этого человека в протёртом кресле
который
ещё сегодня утром
считался их автором

• • •

очаровательные дурнушки восьмидесятых
вы
на чью долю
впервые не хватило
умеренно пьющих
фрезеровщиков-универсалов
мотористов второго разряда
и двадцатирублёвых
инженеров-романтиков

вы
чья колени
были глаже нейлона
польских колготок
а губы горячей
алюминиевых кружек с глинтвейном

естественные и безыскусные
как пластмасса
собственных браслетов и клипс
почитавшие
верхом легкомыслия
расстаться с девством
раньше третьей бутылки «Анапы»

зачинавшие первенцев
между сеансами
«Интердевочки»
и «Маленькой Веры»

я запомнил вас такими
но вы были ещё лучше

навсегда ушедшие со сцены
так и не найдя своих кресел
в умозрительном кинозале
любви

м. Площадь Революции

с точки зрения сходства
мёртвые убедительнее живых

но правдивей всего
бронза передаёт то
что при других обстоятельствах
никогда не сможет
стать бронзой —
складку шинели
трепетанье глазного белка
мягкие ямочки
на подбородке младенца

поэтому пёс пограничника
был всегда интересней
револьвера матроса

а бедро пловчихи
на ощупь
казалось взрывоопасней
чем ручная граната
за поясом красногвардейца

четыре оврага

четыре оврага

Наш город не помнил ни герба, ни флага.
Куранты на башнях прилежно хромали.
Больница, тюрьма да четыре оврага,
которые мы называли холмами.

И были, наверно, по-своему правы,
и жили, наверно, недолго, но просто.
И экс-прихожане двенадцати храмов
собой удобряли двенадцать погостов.

Лихие прабабки справляли столетья,
все сказки счастливо кончались венцами.
От браков рождались здоровые дети,
которые нас называли отцами

не то по привычке, не то по ошибке
и вскоре ошибки своей устыдились.
Они дотемна собирали пожитки
и все как один досветла уходили.

Они волокли чемоданы и лица,
они занимали вагоны и трюмы.
А после — ложились в чужие больницы,
а после — садились в далёкие тюрьмы.

И были, наверно, по-своему правы,
и жили, наверно, своими умами,
украдкой молясь за четыре канавы,
которые мы называли холмами.

Емеля

Вся наличная мебель до щепки ушла на дрова.
Сохранив табурет и тупую задумчивость в теле,
с пол-литровой бутылью, початой в канун Рождества,
восседать на печи лопухим продрогшим Емелей.

Гроздь мёрзлой рябины румяны, как кровь поросят, —
всё, что есть на дворе, не имеет ни проку, ни смысла.
Коль к пятидести граммам добавить ещё пятьдесят,
то становится легче, как будто берёшь коромысло

и бредёшь к полынье на старинную щучью беду,
чтоб по рыблю велению вернуться домой с петухами,
и сосновые души спалить в изразцовом аду,
и уснуть на печи, обогревшись чужими грехами.

Звёзды пахнут извёсткой и тёплым сырым кирпичом,
мандариновой коркой, смолой, прошлогодней простудой.
И вместо блохи под рубахой щекочет плечо
тот невнятный сквозняк, без какого не сбудется чудо.

• • •

О цвете листвы узнаёшь из вчерашних газет,
о том, что пришли сквозняки и сгустились потёмки,
что новый октябрь развернул свой промокший брезент
и дышит под ним, как матрос с броненосца «Потёмкин».

Стенной календарь регулярней, чем выдох и вдох.
В просторной палате, где койки скрипят, как салазки,
в любых новостях различаешь невнятный подвох
и прячешь лицо под чужой кислородную маску.

А тот, кто всё знает о самых ненужных вещах,
о дивных погодах далёких, последних окраин,
хранит до поры под подушкой ночного врача
почтовый конверт с запасными ключами от рая.

• • •

Ни песен, ни вина,
тем паче — медных труб,
и сердце бьётся в такт —
не реже и не чаще,
и утром голова
звенит, как свежий сруб,
который топоры
прилежно рубят «в чашу».

И щёлкают сучки,
и щепочки летят,
и шёпот в голове
тревожен и приятен:
«тебя хотят убить,
и просто так хотят».
Но сыро для стрельбы
и душно для объятий.

И срубленную ветвь
в ковчег не передаст
залётный голубок,
с голубкою воркуя
о том, что вышло жить
в скучнейшем из пространств,
где тесно для ножа,
светло для поцелуя.

повесть временных лет

Мы сосновый клин вышибали клином,
отходя ко сну, задували свечку,
и слепили бога из жёлтой глины,
а из красной глины сложили печку.

Старики углём подводили брови,
и, кряхтя, сгибали свои колени,
и поили бога овечьей кровью,
и кидали в печку одно полено.

Мы ломали хлеб пополам без крошек,
упускали дичь, подбирали стрелы.
И никто не думал, что бог хороший,
и никто не спорил, что печка грела.

...А они глядели прямой и строже,
и носили волосы цвета стали,
и любили запах огня и кожи,
и сперва пришли, а потом остались.

И из наших лбов распивали вина,
и черпали воду из нашей речки.
И слепили бога из жёлтой глины,
а из красной глины сложили печку.

содержание

Монгольское танго

Монгольское танго	5
Ленинградское лето	6
Прогулка	7
Светомузыка	8
Ком. № 312	10

Спички, хлеб и керосин

«Здесь ищут истину и прячут...»	13
«Они ушли ещё до января...»	14
«Мы жуём и худеем...»	16
День поминовения	18

Бессмысленный запах листвы

Элегия	21
«Нам не хватит бензина на горный полёт...»	22
Коллекционерам	23
«Она всегда была такой внимательной...»	24

Тезаурус

Память	27
Любовь	28
Ностальгия	29
Звезда	30
Город	31
Декабрь	32
Ночь	33
Пули	34

В альбом, которого не было	
«Когда наконец мы получим покой...»	37
«После вас, словно после большой войны...»	38
«Мы пройдёмся через ночь, как сквозь строй...»	39
«Ты уедешь в деревню — тайком, надолго...»	40
«Наступает среда...»	41
Развивая Вийона	42
«И, ничтоже сумняшись...»	43
«Полночь. Хозяин мебель пропил...»	44
«Живи стеклянным детским садиком...»	46

Железнодорожное

Железнодорожное	49
Поезд	51

Июльские свадьбы

Июльские свадьбы	55
«вспомнилось счастливое детство...»	56
Уголок Дурова	57
«быть похожим только на самого себя...»	58
Амнезия	59
«очаровательные дурнушки восьмидесятых...»	60
м. Площадь Революции	62

Четыре оврага

Четыре оврага	65
Емеля	66
«О цвете листвы узнаёшь из вчерашних газет...»	67
«Ни песен, ни вина...»	68
Повесть временных лет	69

В издательстве «Воймега» вышли следующие книги:

серия «приближение»:

Ольга Нечаева «Птичье молоко»

Алексей Тиматков «Воздушный шар»

Андрей Чемоданов «Совсем как человек»

Всеволод Константинов «Седьмой путь»

Александр Сорока «Тутырь»

Валерий Халяпин «Три-вы-я»

Александр Максимов «Новый год-II»

Александр Переверзин «Документальное кино»

Мария Тиматкова «Настоящее имя»

а так же:

Денис Новиков «Виза»

Ирина Ермакова «Улей»

Ян Шенкман «Скоро придёт конец птице, оглохшей от собственного пения»

Григорий Кружков «Новые стихи»

Александр Тимофеевский «Размышления на берегу моря»

Книги можно приобрести в магазинах:

Книжная лавка Литинститута, Тверской б-р, д. 25

«Фаланстер», М. Гнездниковский пер., д. 12/27

дизайн серии и макет:

С. Труханов

корректор:

О. Тузова

редактор:

А. Тиматков

формат 60x90/16

тираж 500

издательство «Воймега»

e-mail: voymega@yandex.ru

alkonost@inbox.ru



Сегодня утром проснулся и понял, что не могу вспомнить ни одного собственного стихотворения — ни одной вымученной рифмы, ни одной проходной строчки, ни одного перевернутого эпитафия. Взял с полки книжку издания тысяча девятьсот литинститутского года, вчитывался, пропускал скучные места, отмечал удачные обороты, морщился на глагольных рифмах, следил за размером, плакал от любви. Потом включил телевизор и долго смотрел какую-то новую новостную программу. Мне не было никакого дела до чужих рифм, до чужой любви, до чужих стихов. До этого человека в протёртом кресле, который ещё сегодня утром считался их автором.

и свищёв

михаил свищёв

михаил свищёв

михаил свищёв

михаил сви

едний экземпляр • последний экземпляр